

Константин Леонтьев

Письмо провинциала к г. Тургеневу



Константин Николаевич Леонтьев

Письмо провинциала к г. Тургеневу

«Я прочел «Накануне» с увлечением, но оно неприятно потрясло меня... Понятно, что теперь, при сильно изменившемся духе общества, при открытом стремлении к прогрессу, нравственно-исторические вопросы везде пролагают себе путь, везде слышен голос искренней любви к пользе, поэзия говорит о высокой деятельности, и критика принимает нередко более исторический, чем художественный характер. Даже в тех критических статьях, где видно глубокое понимание изящного и слышна горячая любовь к поэтическому, даже и в них на первом плане является современно или несовременно русское...»

**Константин Николаевич
Леонтьев
Письмо провинциала к г.
Тургеневу**

Я прочел «Накануне» с увлечением, но оно неприятно потрясло меня... В деревне нет возможности иметь разом под рукою все журналы и сообразить все критические отзывы. Я прочел статью г. Дарагана, и она не удовлетворила меня: я порадовался многому встреченному в ней, но еще приятнее был поражен заметкой и забавными стихами «Искры», направленными против моральной точки зрения г. Дарагана. Не знаю, отчего г. Дараган не мог резко отделить нравственный вопрос от эстетического. Хотя эти две стороны обыкновенно бывают связаны органически и в жизни, и в поэзии, но разделение их при разборе нетрудно, особенно если как в «Накануне» *бессознательное* принесено в жертву *сознательному*.

Понятно, что теперь, при сильно изменившемся духе общества, при открытом стремлении к прогрессу, нравственно-исторические вопросы везде пролагают себе путь, везде слышен голос искренней любви к пользе, поэзия говорит о высокой деятельности, и критика принимает нередко более исторический, чем художественный характер. Даже в тех

критических статьях, где видно глубокое понимание изящного и слышна горячая любовь к поэтическому, даже и в них на первом плане является современно или несовременно русское. Для примера я вспомню о разборе «Дворянского гнезда» г. Анненковым и о разборе «Обломова» г. Ахшарумовым. Подобные статьи, чуждые грубой догматизации, верные, горячие не могут не возбуждать сочувствия. Но рядом с грациозностью мысли в первой статье, рядом с ее задушевностью, ее собственным изяществом (несмотря на некоторую крутизну слога) в памяти является недавняя статья г. Дарагана, где недостаточно объяснены художественные недостатки вашего «Накануне», где явно неловкое посягательство на независимость нравственного идеала и странное понимание морали. В самом деле, порицая «Накануне», как творение, Инсарова и Елену – как поэтические типы, зачем нападать на нравственную сторону Елены, именно на абсолютно нравственную сторону, а не на относительную, не на русскую пятидесятых годов? Читая «Накануне», статью Дарагана и ядовитую заметку «Искры», я

мучился желанием отвлечь нравственный вопрос от эстетического... Не знаю, удалось ли мне это, но я, по вашему совету, надену свой медный таз на голову и буду верить, что это шлем; вы вполне правы: без частицы такой веры жить нельзя. Нельзя не чувствовать, при первоначальном чтении романа, тех эстетических недостатков, на которые указывает г. Дараган; нельзя не быть удовлетворенным, когда он чует поэтическую безжизненность Елены и Инсарова (я говорю «чувствует», потому что он неотчетливо высказал свой приговор с этой точки зрения). Мне кажется, что он даже слишком снисходителен к вам, как к художнику, недостаточно показал, до какой степени вы недостойны сами себя как поэт в этом романе, недостойны творца «Рудина», «Гнезда», «Муму», «Затишья», даже «Записок Охотника», которые, однако, много уступают в деле зрелой красоты этим повестям. Что за математическая ясность плана! Разве такова жизнь? Жизнь проста; но где ее концы, где удовлетворяющий предел красоты и безобразия, страдания и блаженства, прогресса и падения? Отвлеченное содержание

жизни, уловляемое человеческим рефлексом, тенью скользит за явлениями вещественными, и воздушное присутствие этой тени и при взгляде на реальную жизнь, и при чтении способно возбудить своего рода священный ужас и восторг. Но приблизьте эту тень так, чтобы она стала не тенью, чтобы она утратила свою эфирную природу – и у вас выйдет труп, годный только для рассудка и науки... Отчего «Рудин» так высоко поднимает душу, так любим всяким русским умом, умевшим хотя немного жить для идеала? Отчего «Гнездо» так умиляет, примиряет сердце? Оно написано тем ярким, сжатым языком, которым написано почти все лучшее у вас, в котором теснятся образы за образами, мысли и чувства друг за другом, почти нигде не оставляя тех бледнеющих промежутков, которыми полна действительная жизнь и которых присутствие в изложении непостижимо напоминает характер течения реального перед наблюдающей душой, напоминает так же неуловимо, как известный размер стиха или музыка напоминает известные чувства. Несмотря на эту резкость языка, которого те-

чение похоже больше на течение ярких воспоминаний в соображении, чем на течение жизни, несмотря на это, «Гнездо» поэтично и эфирно, потому что мысль о прогрессе, протекающая под живыми явлениями драмы, не первая бросается в глаза. Уже остывши от первой грусти и умиления, слышишь ее присутствие и не знаешь даже, признавал ли ее сам автор или нет. Несмотря на ту же яркость языка, герои ваши здесь, как справедливо выразился г. Анненков, представлены не с *грубой выразительностью*. В «Затишье» то же. Здесь читатель не потрясен так сильно, как в «Гнезде», не торжествует, как в «Рудине», не говорит: «вот он, вот он – тот, кого я ждал давно!»; здесь все лица являются как бы с равными правами; то боишься за Астахова, когда его вызвали на дуэль, и заботишься о нем, то сочувствуешь Веретьеву и понимаешь его презрение к положительному юноше, то веселишься с сестрой Веретьева, то любишься на тупую силу и античную простоту малороссианки, утонувшей в пруду. Здесь все лица достигли крайнего предела индивидуализации; им угрожала даже опасность потопить ахе-

ронский челн, о котором говорил Шиллер; природа грозила убить искусство; но ваш художественный такт одной трагической чертой возвратил им всем эстетическую жизнь. Где здесь нравственный исход? Что хотел сказать автор? чья вина? что надо сделать? мы этого не видим ни в «Рудине», ни в «Гнезде», ни в «Затишье»... Душа полна, и грусть ее отраднa, потому что она слышится при чтении «Накануне». Определить с точностью, почему это – едва ли возможно... Вы не перешли за ту черту, за которой живет красота, или идея жизни, для которой мир явлений служит только смутным символом. А какая цена поэтическому произведению, не переходящему за эту волшебную черту? Она невелика; если в творении нет истины прекрасного, которое само по себе есть факт, есть самое высшее из явлений природы, то творение падает ниже всякой посредственной научной вещи, всяких поверхностных мемуаров, которые, по крайней мере, богаты правдой реальной и могут служить материалами будущей науки жизни и духовного развития. В чем же слабость «Накануне»?.. Я назову то, что я думаю

об этом. «Я в некоторых случаях есть признак скромности», сказал недавно один француз Paul de Molines, описывая очень привлекательно свои военные впечатления в Турции и Крыму (Commentaires d'un soldat, Revue de deux Mondes[1]). Я буду следовать его примеру.

План романа, сказал я, прост. Я выразился не совсем удачно: лучше было бы назвать его слишком выразительным, ясным, резким; от него не веет волшебной изменчивостью, смутю жизни. Возьмите все лица: как ясно, что они собрались для олицетворения общественных начал! Автор говорит нам: «Вот скромный, добрый, робкий ученый, настойчивый, но не боец; вот умный, капризный и слабый художник, теряющий не раз чувство собственного достоинства, быстро переходящий от самоуверенности к самоуничижению; вот человек энергический и настойчивый, вовсе не поэт, а сухой и железный делец (Курнатовский)». Вот лучшие представители русской молодежи! Где же идеалист настойчивый? Где человек, употребляющий энергию, практичность, упрямство не на сухое или личное

дело, как Курнатовский или Штольц, а на дело теплое, вскормленное самими привычками в душе, даже не слишком умной на дело, способное внушить любовь и уважение и скромному ученому, и подвижному артисту, и девушке с высокой душою? Где наш Дон Кихот, без избытка комизма, с верой почти безсознательной, чистый, честный и покорно деятельный? Как справедлив этот выбор с исторической точки зрения! Поразительно в самом деле то, что энергические и настойчивые люди у нас, по большей части, нехороши направлением, непривлекательны, а люди с душой и мыслью редко энергичны и никогда почти небогаты упрямством. Быть может, это оттого, что ранний успех в делах и раннее успокоение души, которые достаются на долю русским практикам, с одной стороны, лишают их той печати страданий, сомнений и идеализма, которые нам так драгоценны в нашем прошедшем, а с другой – ставят их в такую общественную колею, от которой отвращается ум, зараженный уже лучшими социальными идеалами. Это так; но, к несчастью, немногим удавалось оживить такое стесне-

ние резких, ясных начал дыханием поэзии. Стоит только вспомнить «Лелию», «Un compagnon d'un Tour de France» и т. п., чтобы видеть, как скоро стареются произведения, в которых отвлечение везде пробивается наружу, несмотря на яркость образов, на обилие и глубину издержанных мыслей, как скоро такие произведения становятся только годными для истории влияния литературы на общественную нравственность и для истории обратного влияния, вроде обзоров Шлоссера.

Обыкновенно такие произведения с первого раза все наружу и лишены той способности к вечному обновлению, которою одарены создания более туманные. Уже и в «Рудине» было видно подобное стремление собрать нескольких представителей и поставить их всех в более или менее враждебное столкновение с человеком, Гамлетом в частной жизни и Дон Кихотом в общественной, с человеком, у которого все сознательное неудачно и бессознательное великолепно... Все эти люди, если стараться применить к ним ваши два вечные типа – или Дон Кихоты в частной жизни, но об общих вопросах забыли и ду-

мать Волынцев, Наталья, даже Лежнев, или Гамлеты везде, если не умом, то эгоизмом (Ласунская, Пигасов, Пандалевский). Но в этой повести отвлеченное духовное начало, олицетворяемое отдельными лицами, являлось едва реющим за их движениями, речью, крупными поступками, за всей физиономией их; богатство отвлеченного содержания входило только элементом, усиливающим красоту целого. И к тому же самая идея этой повести так симпатична для лучшего русского меньшинства, что если б она и была хуже, то ее любили бы современники.

Второй недостаток романа, имеющий более общий характер, это те механические приемы, которые вы употребили для объяснения читателю, что Инсаров человек дела не сухого, а поэтического... Я не стану говорить, как г. Дараган, что худощавый болгар не мог бросить в воду пьяного и огромного немца: такие придирки недостойны честного обращения с искусством. Читатель и критик не обязаны ходить с динамометром, чтобы определять с точностью степень физической силы действующих пред ним лиц. Я жалуясь толь-

ко на безжизненность всего этого, на отсутствие откровения изящного и в сцене спасения дам, и в сцене встречи у часовни, и в других местах... Чтоб уяснить себе немного все это необъяснимое, я вспоминаю только некоторые черты из ваших прежних творений: вспоминаю я то место, когда Рудин ждал Наталью на возвышении, а горничная упрекала его за то, «что они стоят на юру». Как они хороши оба в эту минуту, и горничная, и Рудин!.. Вот истинное откровение! Какое наслаждение для читающего! Он наивно жаждет соединения навеки энергической, свежей и богатой девушки с глубокомысленным и шатким странником; он готов верить в счастье для Рудина и для нее, в укрепление его и в ее просветление... Этот высохший пруд, около которого совершено было когда-то ужасное преступление, эта девка, которая практичнее героя с львиной гривой... какая бездна образов, теней, воспоминаний, отвлечений проносится перед читателем в одно мгновение! Подобных мест много в ваших повестях; я кстати вспоминаю, как Лаврецкий ночью в саду *отыскал* губы Лизы, как он смотрел на ленты

ее шляпы, висевшей на ветке; вопрос Лизы: «желтый фиоль?» когда нянька рассказывала ей о мучениках христианства, страстную сцену между Веретьевым и малороссиянкой (а ведь они, как нравственные типы, несравненно ниже Инсарова и Елены!) и т. д. И мало ли таких картин, полных глубины и прелести, я отыскал бы, не выходя из круга ваших повестей. Ничего подобного не чувствуешь при всех самых страстных, самых драматических сценах «Накануне»; все они как будто сделаны с усиленным стремлением к простоте и вечным, коренным красотам страсти; но вместо всего этого вышло что-то избитое и механическое.

Но довольно об этом. Перейдем к Елене. «Искра» основательно осмеяла г. Дарагана за его моральность. В самом деле, чем Елена не пример, как сознательное начало в душе автора?.. Она пример во многом, и смешно упрекать вас за то, что она почти без борьбы пошла к Инсарову, сама отдалась ему, бросила вялую мать, безпутного отца и всю ту скуку, которая может овладеть в Москве незанятым практически человеком. За что же тут осуж-

дать? Да вы это-то и хотели сказать; вы хотели сказать: «смотрите, она не борется, она так насквозь прониклась своим идеалом, что, увидав Инсарова, подумала: «вот он!» Чем это не высокий тип своего рода в сознании автора? Это шаг вперед. Прогресс можно сравнить с падением на берег морской волны: предметы, которые остались на берегу, не уносятся обратным движением, и человек, мимоходом, не ныряя, может, если хочет, поднять их... Все усилия реакции не сотрут с лица земли осадков прогресса. Нам, русским, все равно, что «Джейн Эйр», что «Лукреция Флориани»; нас не обманешь надеждами на филистерские спасения и на брачные окончания всех английских романов, которым, во что бы то ни стало, хочет верить английская публика; мы любим подобные явления, как один из лучших элементов жизни; но мы столько же любим непрочность и перерождение всех вещей, и никакой односторонний идеал не насытит наше разбегающееся воображение. Бесцветность нашего прошедшего открыла нам глаза и, Бог знает, есть ли в нас что-нибудь такое, что бы мы сочли безукоризненным... Мы

готовы действовать, если уж надо, но никто не заставит нас искренно уважать деятельность больше созерцания, хлопоты больше мышления. Что же за беда! Видно, так надо. Быть может, на этой «*Tabula rasa*»[2] лучше расцветет (на время, конечно, как и все!) без борьбы все то, что с воплями и слезами приобреталось в других местах – не только расцветет, но уже и расцвело там и сям в тайниках семейных дел... Моральные сентенции г. Дарагана вполне стоят сравнения с «*savon pudique*»[3], которым угостила его «Искра». Пусть наши девушки не борются и не боятся своего идеала, когда он сам собою или благодаря живому, поэтическому воспитанию окреп в младенческой душе. Вина ваша относительно Елены не в нравственном принципе, олицетворяемом ею, но, с одной стороны, в слабости ее воплощения, с другой, в слабости воплощения Инсарова, а корень того и другого в несимпатичности Инсарова для русского вообще и для вас самих. Поговорим о первом. Здесь г. Дараган так прав, упрекая вас за недостаточное развитие основных свойств Елены и влияний ее воспитания, что я не

прибавлю ни слова.

Замечательно, что нравственное начало Елены сознано вами как бы самобытнее и яснее начала всех прочих ваших героинь (за исключением разве пленительной Лизы в «Гнезде»); а все живое чуждо этому холодному образу, к которому вы сами, быть может, равнодушны именно за тот выбор, который одобряет ваш рассудок в припадке русского самоуничужения. Елена – бесцветный фон, на котором препираются более выпуклые фигуры Инсарова, Курнатовского, Берсенева и Шубина. Художественное самоотрицание убийственно для поэзии. Я позволю себе выражение немного грубое, быть может: если писателю невесело, не по себе с его лицами, едва ли уважение спасет их от холодности... Надо их любить, а не уважать; вы не любили Инсарова, вы любили Рудина, и он все озарил вокруг себя, и сама Наталья, которой нравственный принцип туманнее принципа Елены, вышла мила. Мы любим и уважаем ее не за силу, не за то, что она обуздавала самолюбие Рудина у засохшего пруда, а за то, что она способна была полюбить его, еще не уразумев хо-

рошо, в чем дело. Вы любите Шубина (он нам всем знаком); вы любите автора писем в «Фусте», Горского («Где тонко, там и рвется»), и не знаю, зачем вы казните в «Накануне» это изящное, колеблющееся начало. Не подобное ли начало долго было живительным в России? Не оно ли заплатило долгими страданиями за свои ошибки? Где польза? Сегодня одно, а завтра другое полезно. И разве только степень окончательной производительности важна? Разве менее важно отдаление от производительности, если ее направление противно? Разве изящество и многообразие натуры не есть сила сама по себе?..

*Audi in der sittlichen Welt ist ein
Add. Gemeinc Naturen
Zahlen mit dem was sie ihun, schone
mit dem, was sie sind.[4]*

Так сказал Гёте; и если Шлоссер ропщет на него не без основания, так это потому, что точка зрения, выбранная им, по преимуществу нравственно прогрессивна... Но, вероятно, старик не считает ее единственно возможною, и оговорка есть насчет того, что он не претендует на объективность, мне кажется,

относится прямо к свободному выбору точки зрения. Конечно, это опять дело авторской воли выбрать тот или другой принцип, заставить торжествовать начало экстенсивное, так сказать, жаждущее жизни, или начало отречения, односторонней интенсивности. Все рады за Джейн Эйр, все сочувствуют ей, когда она предпочитает более живое, скажу даже, более эгоистическое начало в лице богатого, блестящего, страстного Рочестера началу труда, практической службе высокому идеалу, сухой интенсивности Сен-Джона. Сен-Джон и Инсаров, конечно, нисколько не похожи друг на друга; я вспоминаю их невольно вместе только, как более Дон Кихотов, чем Шубин и Рочестер. Каррер-Белл могла бы и иначе кончить свой роман; если б Рочестер не ослеп и жена его была бы жива, если б Джейн Эйр уехала с Сен-Джоном, быть может, тогда роман утратил бы долю своей прелести, а все было понятно, потому что все лица живы, и Сен-Джон после Рочестера был любим автором, по крайней мере, коротко знаком ему. Инсаров несколько яснее Елены, благодаря тому, что вы явственно описали его наруж-

ность, и еще тому, что, говоря о карикатурных статуэтках Шубина, вы упомянули о психологических элементах его нрава (туп, упрям и т. д.), но ясен – не правда ли, не значит еще жив?.. Живое всегда не слишком ясно и не слишком темно... Только благодаря вашей постоянной помощи Инсаров держится; вы заставляете всех говорить о нем; сам он почти ничего не проявляет характеристического, ничего такого, что б перенесло нас во внутренний мир его. Опять скажу: как нравственный тип, он имеет полное право на уважение, подобно Елене; но сердце читателя закрыто и для него и для нее, потому что психологические и исторические остовы их не облеклись у вас художественной плотью. Сделайте Инсарова более грубым, менее безукоризненным, пожалуй, развратным, буйным, но изобразите нам его дела, его теплоту, его Болгарию, и отпустите тогда с ним Елену... душа наша стеснилась бы завистью и наслаждением. Но где же турки, ножи, мать, которая его няньчила, отец, который кормил его? где его слабости и привычки? где живительный луч комизма, с которым превосходно мирит-

ся сила характера (помните, забавные своим педантством поцелуи, которые каждый вечер отпускал Сен-Джон невесте Рочестера, все наивности героев Гомера, заставляющие нас улыбаться и осваиваться с этими греками и т. п.?). Русского мы поймем и без истории его развития, поймем и болгара *дома*, и готовым, и развивающимся; но болгар в Москве, без дела и без психической эмбриологии, непонятен и чужд душе. Поэтому-то страсть героини вашей так холодна, поэтому так неприятно действуют все черты ее; она возбуждает в иных местах даже отвращение; например, в минуты ее жесткости с привлекательным Шубиным, в ту минуту, когда она кокетливо делает рукою нос Инсарову. Главная же беда, мне кажется, в насиловании собственного вкуса, в предпочтении упрямой, ограниченной, но благородной направлением души – душе изящной, разбегающейся, страдающей и мыслящей... Какие души нужнее, когда и где – кто решит? Вы были правы, сказав, что у нас есть Шубины, Берсеневы, Курнатовские, что у нас теплые люди не дельцы, а дельцы не теплы. Нравственное предпочтение Инсаровых

Курнатовским понятно и сродно каждому, но нравственное торжество Инсаровых над Берсеневыми и Шубиными непривлекательно для русской души (она не виновата!), а потому вы оставались холодны к уважаемым вами лицам, не возвели их «в перл создания»; одаряя их самыми прочными, полезными и высокими качествами, вы обращались с ними, как с хрупкими предметами, как бы боялись чем-нибудь уронить их. Вы не боялись уронить ни Рудина, ни Лаврецкого, ни лишнего человека, ни Горского: вы знали, что найдете, чем вознаградить их из самых горячих недр вашей русской души. И вот читатель готов ощущать почти неприязненное чувство к личностям Инсарова и Елены и не вознагражден за это чувство эстетическим восторгом, который овладевает нами даже и при глубоком изображении порока. Вы имеете право сказать, что самое заглавие вашей повести относится к прошедшему: что «Накануне» (если я не ошибся) значит «накануне рассвета после войны», что теперь уже явились там и сям русские Штольцы и русские Инсаровы. Но теплое и трепещущее жизнью

не возбуждает возражения, несмотря на историческую отсталость. Взгляните на Обломова: кто мог ожидать появления такого забытого типа? Казалось, вопрос о лени был исчерпан до дна. Кто видит теперь чистых Обломовых? Однако многие нашли его в себе, по крайней мере, в прошедшем своем, и обрадовались ему, как старому знакомцу, которого как будто не доставало где-то... многие любят и даже уважают его, противодействуя ему в жизни. Возьмем также Рудиных: их уже нет давно; самый непрактичный по природе теперь стал практичнее, когда отворилось много дверей; но кто жил полной жизнью и откликнулся на многое, для того этот образ неизгладим; его ждали давно. Вы знаете лучше всякого из нас, что творения истинно поэтические выплывают все более и более с течением времени из окружающей мелочи; огонь исторических, временных стремлений гаснет, а красота не только вечна, но и растет, по мере отдаления во времени, прибавляя к самобытной силе своей еще обаятельную мысль о погибших формах иной, горячей и полной жизни. Вот мои чувства; если вы найдете их годными для

печати, я буду очень рад.

Знакомый вам провинциал

1860 г. Апрель

Примечания

Пересуды солдата, Обозрение двух миров (фр.)

[^^^]

чистая доска (лат.)

[^^^]

3

скромной головнойкой (фр.)

[^^^]

4

Даже в нравственном мире есть аристократия. Пошлые натуры

Платят тем, что они делают, прекрасные тем, что они есть (нем.)

[^^^]